

Клиффорд
Уиттингем
Бирс



ОТОРВАННЫЙ ОТ — ЖИЗНИ



Москва · Издательство «Обложка» · 2023

Эта история взята из самого человеческого документа, который мог когда-либо существовать; и оттого, что природа ее необычна, самое ценное в ней — то, что она настоящая. Это автобиография — и не только: рассказывая историю своей жизни, я должен поведать об истории другого себя — себя, что играл главную роль в период с двадцати четырех до двадцати шести лет моей жизни. В то время я не был похож ни на того, кем был до, ни на того, кем стал после. Данную часть моей автобиографии можно назвать гражданской войной разума, которую я вел в одиночку на поле боя, развернувшемся внутри моего черепа. Армия Безумия из хитрых и предательских мыслей злого врага атаковала мое ошеломленное сознание непреклонно и почти уничтожила меня, если бы победоносный Разум не разработал наконец более мощную стратегию и не спас меня от ненастоящего себя.

Я рассказываю историю своей жизни, не просто чтобы написать книгу. Я рассказываю ее потому, что считаю это своим долгом. Еле избежал гибели, чудесным образом исцелился от смертельной болезни. Этого более чем достаточно, чтобы

задуматься: для чего меня пощадили? Почему? Я спрашивал себя. И эта книга — в какой-то степени ответ на этот вопрос.

Я родился на закате около тридцати лет назад. Мои предки, выходцы из Англии, осели в Америке вскоре после того, как торговый галеон «Мейфлауэр» вошел в Плимутскую бухту. И кровь этих предков по прошествии времени, благодаря браку мужчины с Севера и женщины с Юга — моих родителей, неизбежно стала американской.

Первые годы моей жизни не отличались от жизни других американских мальчишек, однако меня выделяла привычка постоянно тревожиться. И хотя сейчас я верю в это с трудом, тогда я был до невозможности стеснительным. Когда я впервые надел шорты, мне показалось, что на меня смотрят все; чтобы избежать чужих глаз, дома я прятался за мебелью, а на улице крался вдоль заборов, если верить рассказам семьи. Из-за своей робости я чувствовал себя неловко на семейных или общественных встречах, мне это сильно мешало. Я мало говорил и напрягался, когда со мной начинали диалог.

Как и многие другие ранимые дети-интроверты, однажды я пережил краткий период убийственной праведности. Мы играли в бейсбол, наша команда проиграла. На куске бруса, который лежал на площадке, где проводилась игра, я нацарапал счет. Потом мне пришло в голову, что мою надпись истолковали неправильно — и что выиграла наша. Я вернулся и исправил написанное. Найдя дома старый ящик с инструментами, обнаружил то ли медаль, то ли монету, на которой

было написано: «Так давайте же оставим дела тьмы и наденем доспехи света»*, и почувствовал, что мои религиозные чувства оскорбили. Мне показалось, что это святотатство: использовать столь высокие мысли таким гнусным образом. Поэтому я уничтожил монету.

Я рано почувствовал — или, во всяком случае, осознал — то, как другие заботились и волновались обо мне. Наверное, я отличался от других детей тем, что развивал в себе нелепое и жалкое чувство ответственности за всю вселенную. Не знаю. Но самое яркое проявление этого случилось, когда средства семьи оказались в опасности. Я стал бояться, что мой отец (оптимистичнее которого не было никого на свете) совершит самоубийство.

В конце концов, я не уверен, что другая часть моей натуры — естественная, здоровая, мальчишеская — не развивалась параллельно с робкими и болезненными настроениями, которые не так уж и редки в детстве. Разумеется, нормальный, непоседливый я чаще выглядывал на поверхность. Я был вполне нормальным парнем: не отличался от приятелей, с которыми играл, ездил на рыбалку, когда представлялась возможность. Никто из моих друзей не считал меня застенчивым или угрюмым. Но так было потому, что я прятал свои проблемы под маской сарказма и едких острот — или под тем, что могло хоть как-то сойти за остроту среди моих незрелых знакомых, пускай я делал это бессознательно. Со взрослыми

* Послание к римлянам, 13:12.

Для любого человека студенческие годы — обычно самые счастливые в жизни. Но не для меня. Бóльшая часть моих не была таковой. И все-таки я оглядываюсь на них с большим удовольствием, потому что чувствую, что мне повезло: я впитал неосязаемую, но самую настоящую вещь, известную как «дух Йеля». Это помогло мне не оставлять надежду в самые тяжелые моменты, и с тех пор мне казалось, что я смогу достичь любых целей.

II

13 июня 1897 года я окончил Йель. Если бы тогда я понимал, что болен, я бы мог отдохнуть, и мне следовало это сделать. Но я некоторым образом привык к взлетам и падениям нервного существования и, поскольку на самом деле отдыха я себе позволить не мог, через шесть дней после окончания заступил на должность клерка в офисе налогового инспектора города Нью-Хейвен. Мне повезло, что я получил это место в то время, потому что работали мы сравнительно немного, а сама работа была столь же приятной, как и любая другая в подобных обстоятельствах.

Я поступил на должность в Налоговой службе с намерением оставаться до тех пор, пока не найду работу в Нью-Йорке. Где-то спустя год мне удалось устроиться. Проработав восемь месяцев, я ушел, чтобы занять место, которое предполагало поле деятельности, более подходящее моим вкусам. С мая 1899 года по середину июня 1900 года я был клерком в одной из небольших страховых компаний, и наша штаб-квартира была буквально в двух шагах от того, что кто-то может назвать центром вселенной. Я очень хотел быть в самом сердце финансового района Нью-Йорка — это

После того как мне вправили кости, а все последствия сильнейшего шока, что я испытал, прошли, я начал набираться сил. Где-то на третьей неделе я уже мог садиться, и меня начали вывозить из палаты от случая к случаю. Но каждый день, особенно в ночные часы, бред усиливался и становился более разнообразным. Мир быстро сделался сценой, на которой каждый человек, попавший в поле моего зрения, казалось, играл роль — такую, что не только приведет к моему уничтожению (об этом я мало волновался), но также принесет несчастье всем, с кем я когда-либо общался. В июле прогремело несколько гроз. Гром был для меня «сценическим», молнию и дождь изображали люди — чаще всего обидчики. К больнице прилегала часовня, если так можно назвать комнату, в которой каждое воскресенье проходили службы. Гимны звучали подобно похоронному маршу, а едва слышные молитвы произносились во имя всех грешников мира — за исключением одного.

За ходом лечения наблюдал мой старший брат. Он же отстаивал мои интересы все время, пока я болел. Ближе к концу июля он сказал, что меня заберут домой. Наверное, я посмотрел на него с подозрением, потому что он добавил:

— Ты думаешь, мы не можем забрать тебя домой? Мы имеем право и именно так и поступим.

Я полагал, что нахожусь в руках полиции, и не понимал, как такое возможно. Да и желания возвращаться у меня не было. Моя душа восставала против мысли, что человек, опозоривший свою семью, возвратится домой и что его родственники

будут относиться к нему по-прежнему. Когда наступил тот самый день, я особо не спорил с братом и доктором, пока меня поднимали с койки. Но вскоре я подчинился. Меня положили в экипаж и отвезли в дом, который я покинул месяцем раньше.

На протяжении нескольких часов мой разум чувствовал себя спокойнее. Но заново обретенный комфорт закончился с приходом медсестры — одной из тех, что ухаживали за мной в больнице. И пускай я находился дома и был окружен родственниками, я все равно пришел к выводу, что все еще нахожусь под наблюдением полиции. По моей просьбе брат пообещал не нанимать медсестер из числа тех, что ухаживали за мной в больнице. Однако он не нашел других, поэтому просьбу проигнорировал: в то время она казалась ему глупым капризом. И все же он сделал все, что мог. Выбранная им медсестра всего лишь однажды заменяла другую, и то только в течение часа. Но этого оказалось достаточно, чтобы она запечатлелась в моей памяти.

Поняв, что я все еще нахожусь под наблюдением, вскоре я пришел к другому выводу, а именно: этот мужчина — никакой мне не брат. Он сразу стал походить на злого двойника, который на самом деле был полицейским. После этого я напроочь отказался разговаривать с братом, а потом и со всеми другими родственниками, друзьями и знакомыми. Если человек, которого я считал родным, был двойником, это касалось и всех остальных — так я размышлял. Более двух лет я провел без родственников и друзей. Оторванный от жизни,

Х

Я нахожусь в ситуации, схожей с положением человека, чей некролог напечатали преждевременно. Мало у кого была возможность так проверить любовь родственников и друзей, как это выпало мне. То, что мои близкие исполняли свой долг и делали это добровольно, — разумеется, постоянный источник удовлетворения для меня. Я считаю, что именно эта преданность стала одним из факторов, благодаря которым я впоследствии спокойно вернулся к своим социальным и деловым ролям, ощущая непрерывность этих процессов. Я и в самом деле могу рассматривать свое прошлое вполне обыденно, как и те, чьи жизни не включают в себя столько событий.

Я вижу множество пациентов, брошенных родственниками; из-за отсутствия заботы они негодуют и уходят в тяжелые думы. Тем живее моя благодарность, особенно потому, что два года из трех, что я болел, общаться со мной было трудно. Родственники и друзья навещали меня, и эти визиты были сложными для всех. Я не разговаривал ни с кем, даже с матерью и отцом. Они казались такими же, как раньше, но я всегда умудрялся найти отличие во взгляде, или жесте, или

интонации голоса, и этого было достаточно, чтобы укрепиться в мысли, что это двойники, вступившие в заговор с целью не просто заманить меня в ловушку, но еще и очернить тех, за кого они себя выдавали. Неудивительно, что я отказывался с ними говорить и никого к себе не подпускал. Если бы я поцеловал женщину — предположительно свою мать, но которую я считал полицейским заговорщиком, — то я бы ее предал. Друзьям и родственникам эти встречи давались куда сложнее, чем мне. Они казались мне настоящим испытанием; в те моменты я страдал меньше, чем мои посетители, но мне так не казалось, поскольку я постоянно жил в ожидании этих нежеланных, но впоследствии полезных встреч.

Давайте представим, что мои родственники и друзья держались бы в стороне в течение этого очевидно безнадежного периода. Что бы я испытывал к ним сейчас? Пускай они ответят на этот вопрос сами. Два года я считал все письма подделкой. Однако настал день, когда я убедил себя в том, что они настоящие и что те, кто их послал, правда любят меня. Возможно, люди, чьи родственники числятся среди двухсот пятидесяти тысяч пациентов в различных учреждениях по стране, смогут когда-нибудь утешиться таким же осознанием. Чтобы не наделать дурного, чтобы остаться человеком, каждый родственник и друг больного должен помнить Золотое правило, которое распространяется на всех страдающих душевными болезнями. Навещайте их, относитесь к ним с пониманием, пишите письма, держите

переполненный старыми номерами обычной английской периодики: «Вестминстер ревью», «Эдинбург ревью», «Лондон Квотерли» и «Блэквудз». Там же находились экземпляры журнала «Харперс» и «Атлантик Мансли», на которых выросло предыдущее поколение или даже старше. В самом деле, многим газетам миновало больше пятидесяти лет. Но у меня не было выбора: либо читать сложные статьи, либо не читать вовсе, потому что я все еще не мог попросить те книги, которые хотел. В палате одного из пациентов находилось тридцать или сорок личных книг. Раз за разом я проходил мимо его двери и бросал на них алчущие взгляды. Поначалу я не осмеливался попросить одну из них. Но летом, когда отчаяние стало окружать меня, я наконец набрался храбрости и незаметно забрал парочку. Когда владелец книг посещал службу и уходил в часовню, его библиотека расходилась по чужим рукам.

Книги впечатляли меня, пожалуй, больше чем обычно впечатляют нормальных людей. Чтобы убедиться в этом, я недавно перечитал «Алую букву»* и многое вспомнил. Первая часть истории, в которой Готорн описывает свою работу на таможне и дает портрет автора, запомнилась мне мало. Я приписываю это полному отсутствию

* «Алая буква» (англ. The Scarlet Letter) — magnum opus американского писателя Натаниэля Готорна. Считается одним из краеугольных камней американской литературы. Дополнительное измерение роману придуют символические элементы, такие как сама алая буква, превращающаяся в символ не только и не столько греха, сколько несгибаемого духа героини.

интереса с моей стороны к писателям и их методам работы в то время. Тогда я не собрался писать книгу и даже не думал, что в один прекрасный момент сяду за нее.

На письма я смотрел с подозрением. Я никогда не читал их в момент получения. Даже не открывал. Но обычно через неделю или даже через месяц втайне распечатывал их и знакомился с содержанием. В моих глазах это все равно были фальшивки, написанные полицейскими.

Я по-прежнему не разговаривал и делал что-то, только когда пациентов выводили гулять. Часами сидел и читал книги и газеты либо не делал ничего вовсе. Но мой ум работал и был очень восприимчив. Как доказали некоторые события, почти все сделанное или сказанное, что я был способен увидеть и услышать, оставалось в моей памяти, но вспомнить происшествия, которые могли бы помочь во время потенциального суда, представлялось очень сложным.

Мои щиколотки восстановились не полностью. Было больно ходить. Месяцами я продолжал опираться на всю ступню. Я не мог удерживать собственный вес, когда пятки отрывались от пола. Спускаясь по лестнице, я должен был ставить подъем на край каждой ступеньки или преодолевать одну ступеньку за раз, как ребенок. Я считал, что полицейские хотят довести меня до идеального состояния, подобно мясникам, откармливающим животное перед тем, как его зарезать. Поэтому я намеренно делал вид, что куда слабее, чем на самом деле; отсутствие физической активности в некоторой степени объяснялось тем,

пытался завести беседу, хотя я сопротивлялся. Из его регулярных рассказов я узнал, что раньше он работал страховым агентом. Наконец мы начали регулярно общаться с ним, расположившись вдаль от лишних глаз. Только спустя несколько месяцев я заговорил с кем-то еще, кроме этого мужчины. Я вел с ним беседы почти обо всем, но не упоминал о себе. Однако в конце концов его настойчивость одержала верх над моей скрытностью. Одним июньским днем 1902 года, когда мы беседовали, он резко сказал:

— Почему тебя держат здесь? Я не понимаю. Очевидно, что ты совершенно здоров. Ты всегда разговариваешь со мной разумно.

К тому моменту я уже несколько недель ждал шанса поделиться своими мыслями. Я пришел к выводу, что у меня появился настоящий друг, который не предаст.

— Если я расскажу кое-что, о чем ты не знаешь, ты поймешь, почему я здесь, — сказал я.

— Так расскажи, — ответил он.

— Обещаешь никому не рассказывать о моих словах?

— Обещаю: буду нем как рыба.

— Ну, — начал я, — ты ведь видел тех людей? Они приходили сюда и говорили, что они мои родственники.

— Да. Но ведь они и правда твои родственники?

— Они выглядят как мои родственники, но это не они.

Мой любознательный друг рассмеялся.

— Ну, если ты и правда так думаешь, я вынужден забрать свои слова обратно. Ты и в самом деле самый безумный человек из всех, что я встречал, а уж я повидал безумцев на своем веку!

— Когда-нибудь ты поймешь, — ответил я.

Тогда я полагал, что он оценит мои слова по достоинству, когда наступит день моего суда. Я не поделился с ним тем, что считаю полицейскими и посетителей и нахожусь под их пристальным вниманием.

Время шло, и в июле-августе 1902 года я стал придумывать планы самоубийства вдвое чаще. Теперь я считал, что мое физическое состояние кажется для моих врагов удовлетворительным, и был уверен, что мое дело невозможно откладывать дальше сентября, когда начинают свою работу суды. Я даже заговорил с одним из санитаров, студентом-медиком, который летом подрабатывал в больнице. Я подошел к делу изобретательно. Сначала я попросил его принести из библиотеки «Алую букву», «Дом о семи фронтонах»^{*} и другие книги; потом разговаривал с ним о лекарствах и, наконец, попросил его одолжить мне пособие по анатомии, которое, как я знал, у него имелось. Он согласился, но попросил меня молчать об этом. Когда я получил учебник, то, не теряя времени, стал быстро изучать главы про сердце, его функции и особенно внимательно — про то

^{*} «Дом о семи фронтонах» (англ. The House of the Seven Gables) — второй роман американского писателя Натаниэля Готорна; считается выдающимся образцом готического романа.

народы будут славить Тебя во веки и веки», — отозвался я. В этих строках заключалась моя бессмертная слава, но только при условии, что я успешно завершу миссию реформатора — обязательство, возложенное на меня Господом в тот момент, когда Он вернул мне рассудок.

Я укрепился в мысли провести реформу. К этому меня толкали мотивы, отчасти похожие на те, что овладели Дон Кихотом, когда он двинулся в путь, как говорит Сервантес, «с намерением „искоренять все зло и подвергаться смертельной опасности, таким образом он обретет вечное признание и славу“». Сравнивая себя с безумным героем Сервантеса, я не хочу впасть в заколдованный круг рыцарства. Я хочу показать, что человек в состоянии неадекватной эйфории может быть зачарован своими лучшими побуждениями. Во власти этой мании, до некоторой степени идеалистичной, он не только готов, но и желает идти на риск и нести на своих плечах трудности, на которые в нормальной ситуации пошел бы нехотя. Справедливости ради, я могу заметить, что мои планы реформы никогда не достигали донкихотского и непрактичного уровня. Я не собирался бороться с ветряными мельницами. В качестве инструмента нападения и защиты я избрал перо, а не копье; я чувствовал, что острием пера однажды смогу уколоть общество так, что заставлю его сострадать; я приведу на это заброшенное поле битвы мужчин и женщин — искренних, желающих бороться за жизни тысяч больных, неспособных постоять за себя.